

МВЛАДИМИР
УССАЛИТИН

**ТРОЕ
В ПРИ-
ВОКЗАЛЬ-
НОМ
СКВЕРЕ**

Муссалитин В. И.

М 91 Трое в привокзальном сквере: Повести, рассказы.—
М.: Советский писатель, 1986.— 368 с.

В новой своей книге Владимир Муссалитин продолжает исследовать связи времен, доискиваться ответа на постоянно волнующие его вопросы: чем обогащают друг друга разные поколения, с какими нравственными обретенными выходим мы из схваток с судьбой?

Сборник, в который вошли повести «Зима посреди лета», «Связиной», «Завируха» и рассказы, подкупает непосредственностью изложения, доверительностью интонации

4702010200—373

М ————— **93—86**

083(02)—86

ББК 84. Р 7

Владимир Иванович Муссалитин

ТРОЕ В ПРИВОКЗАЛЬНОМ СКВЕРЕ

М., «Советский писатель», 1986, 368 стр.
План выпуска 1986 г. № 93

Редактор В. Г. Клименко

Худож. редактор Е. Ф. Капустин

Техн. редактор И. М. Минская

Корректоры Т. М. Павлюченко и О. В. Селиванова

ИБ № 5589

Сдано в набор 26.06.86. Подписано к печати 19.09.86. А03501. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 21,26. Тираж 30 000 экз. Заказ № 420. Цена 1 р. 70 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

ВЛАДИМИР
МУССАЛИТИН

**ТРОЕ
В ПРИВОКЗАЛЬ-
НОМ
СКВЕРЕ**

•
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

ББК 84. Р7
М 91

Художник Давид ШИМИЛИС

М — $\frac{4702010200-373}{083(02)-86}$ 93—86

©Издательство «Советский писатель», 1986 г.

ПОВЕСТИ

СВЯЗНОЙ

I

Случившееся той осенью на какой-то срок отдалило меня от сверстников, их игр и забав, неожиданно приблизив к таинственному, загадочному миру взрослых, показав его с той неизвестной стороны, о которой мы, как правило, говорили шепотом, боясь, как бы взрослые, ненароком услышав нас, не надрали уши. Оно и понятно, взрослые считали, что мы еще сопливы толковать о таких серьезных вещах, как любовь. Они, взрослые, конечно же были правы. Но что поделаешь, если нам были даны глаза и уши. И мы видели и слышали многое из того, что нам видеть и слышать не следовало.

В ту осень в наш поселок, изрядно нахлестанный осенними дождями и ветрами и потому раньше времени потерявший вид, который и прежде-то не отличался нарядностью, прибыли на заготовку картошки моряки. Нас несколько не смущал прозаизм цели их приезда. Ну и что из того! Моряки тоже живые люди. А чтобы бороться со штормами, нужна сила. А она в таких продуктах, как хлеб да картошка, и кроется. Мы были горды и польщены тем, что за картошкой эти бывалые люди в черных форменках и лихо сбитых набок бескозырках с беспокойными лентами, на которых золотом горело: «Краснознаменный Северный флот», — так вот, что эти brave люди приехали именно к нам. У нас действительно родилась отменная крупная картошка. Восемь — десять картофелин кинул — и, считай, ведро с верхом! И в варке лучшей картошки, чем наша, не найти. Рассыпчатая, пахучая. Так что моряки не ошиблись в выборе адреса.

Наш, в общем-то, тихий поселок никогда не видел такого большого стечения военного люда и потому весь ожил и как-

то приободрился. Здесь, видимо, нужно сказать несколько слов о нашем поселке, его географическом месторасположении, истории и т. п.

Известно, у каждого села, города своя история. Мне тоже интересно было узнать, как завязалась судьба нашего поселка, с каких пор он считает свои года. Обычно показателем древности того или иного места служит какой-нибудь старинный собор или церковь. Так вот, у нас ничего подобного не было. И это наверняка бросалось в глаза заезжим людям и, видимо, вызывало или, по крайней мере, не могло не вызвать удивления. Сама логика говорила за то, что не могло большое селение при большой дороге обходиться без всего этого. Можно было предположить, что церковь когда-то, до революции, и стояла где-нибудь посреди поселка, но потом ее, как это нередко бывало тогда, снесли за ненадобностью сами жители, а еще вернее — разбомбили фашисты. Но старожилы поселка — мой сосед — бывший бухгалтер и телеграфист, а еще раньше — ротмистр царской армии Иван Иванович Каменский и высокий, костлявый, с мощными седыми и вислыми, как у моржа, усами дед Полосин, бессменно носивший длинную, чуть ли не до пят, кавалерийскую шинель, которая, видимо, каждому должна дать понять, кто перед ним — дед Полосин служил какое-то время в рядах ЧОНа и кичился этим, — так вот, оба наших почтенных старожила, словам которых, без сомнения, можно было верить, единодушно утверждали, что никаких «культовых строений», как выразился дед Полосин, в наших местах не было и быть не могло! Такая категоричность меня удивила, и я, взявшийся по собственной воле записать в общую тетрадь историю нашего поселка, чтобы потом передать ее тому, кому это действительно будет интересно, отложил в сторону карандаш, задав деду Полосину вполне естественный в таких случаях вопрос: но почему, мол, не могло быть?

— Да потому, — дед покосился на мою тетрадь и как-то странно ухмыльнулся, — да потому, что они ни в черта, ни в дьявола не верили. Разбойничье семя — вот кто они! — сказал жарко, с таинственным придыханием дед Полосин. И тут же охотно пояснил: — Разбойник разбойнику рознь. Одно дело, когда богатого, именитого ограбил, так сказать, в знак протеста против насилия, несправедливости. И другое дело, когда каждого без разбору. Ради наживы или там хулиганства. Вот такими наши, к сожалению, были. Да ты об этом не пиши, — поостерег он на будущее меня. — Потому как это будет исторически неверно. Написав все как есть, ты

как бы предъявишь всем жителям обвинение. Получится так, что наш поселок и был не чем иным, как воровским гнездом. В известной мере это так. И мы еще видим кое-какие пережитки прошлого. Но ко всему нужно подходить с исторической меркой, — поучал меня начитанный дед Полосин, говоря о рабочем классе, о его роли в революционных преобразованиях.

По мнению Полосина, и бытие наших земляков могло быть иным, будь здесь покрепче рабочий класс, но он, к великому сожалению, был лишь представлен двадцатью рабочими механических мастерских Мудрова, с которых якобы и началась история нашего поселка, насчитывающая, следовательно, чуть более полувека, где не было ни одного памятника старины, где не было даже кладбища, и по этой причине хоронить умерших возили в Лукьянчиково на деревенский погост. Но, может, это было и хорошо. Быть может, отсутствие кладбища не наводило людей лишний раз на мысль о бренности существования, позволяя жить более беспечно, без излишней, что ли, тревоги. Что же касается нас, пацанвы, то мы, несмотря на то что по центральной улице нашего поселка, даже и не по улице, а по шоссе, нет-нет да и проносили покойника, все же безоглядно верили в бесконечность жизни. Чудовищной и неправдоподобной казалась сама мысль, что ты, именно ты можешь умереть. Такого быть не может. Умрет кто-то. Но я буду всегда. Та же мама защищает меня от смерти. Как я содрогнулся, какой ужас и страх обуяли меня, когда я увидел первого в своей жизни покойника. Было мне тогда лет пять-шесть. Увидел издали, с огорода, где мы с мамой убрали картошку. Он, видимо, был стариком — хоронили с попом, одетым в черную и потому пугающую рясу. Поп шел сбоку от гроба и временами взмахивал над ним кадилом. Голосили в голос женщины. Поп, однако же, не смотрел ни на кричавших в горе женщин, ни на покойника, а напряженно, как думалось мне, водил глазами по сторонам, быть может отыскивая кого-то еще, кто в скором времени понадобится ему для подобного дела. Не знаю почему, но смерть представилась тогда мне в образе этого попа в черном. И мне хотелось одного, чтобы он не глянул в нашу сторону, прошел стороной, не заметив, тем более что от дороги до нас было далеко. Для верности я забился от страха к маме в ноги, и она, моя чуткая, милая мама, поняла причину этого моего страха, присела на колени и, обняв, прижав крепко-накрепко к себе, стала осыпать мою макушку поцелуями. Страх мой вырвался на волю бурным ревом, и ма-

ма утешала меня как могла, а я, захлебываясь слезами, все пытал и пытал у нее: «Мама, он не возьмет меня?» И мама отвечала: «Я никогда, никому не отдам тебя, сынок...»

Как мог, я рассказал вам о небогатой истории нашего поселка. Что же касается его месторасположения, то он лежал между двумя старыми русскими городами Орлом и Брянском. Так и подмывало поставить вместо названий первые буквы, как это нередко делалось в старинных сочинениях, а то и вовсе заменить действительные названия на вымышленные, что дало бы возможность рассказчику более свободно пользоваться материалом. Но, хорошенько подумав, я решил, что, пожалуй, не имею права вольничать подобным образом. Я должен следовать истине. Называть вещи своими именами. Это, несомненно, затруднит мою работу, поставит повествователя в более жесткие рамки, но, быть может, это и к лучшему. Вместо того чтобы что-то придумывать и присочинять, будешь старательно и правдиво воссоздавать события тех дней, о которых тебе захотелось рассказать другим. Ведь не зря же замечено, что жизнь гораздо интереснее любой выдумки.

Так вот, наш поселок лежал между Орлом и Брянском и был удачно связан с ними шоссейной и железной дорогами. Почти равная удаленность от обоих больших городов и прекрасное сообщение прельщали разбойничьи шайки, которых немало тогда шастало в наших местах. Одним из них поселок время от времени служил надежным укрытием от преследования орловской или брянской милиции, другие же, видимо не больно заботясь об участии соперничающих шаяк, нет-нет да и устраивали разбой, тем самым усложняя жизнь конкурентам. После каждого такого налета в поселке заметно прибавлялось милиционеров и реальной становилась угроза быть пойманным. Однако бандиты все еще гуляли на воле, держа в постоянном страхе и напряжении всю округу.

Стоя утром в очереди за хлебом, ты вдруг узнавал всякие страшные новости. По дороге на Городище бандиты остановили мужика с подводой, на которой он вез в сельпо крупу и еще какие-то продукты. Мужика раздели, всунули в рот кляп и привязали к дереву, а сами на чужой подводе со всем добром укатили в лес. На Третьей Садовой — окраинной улице поселка — у полковника в отставке Линевского, когда тот отлучился в Орел навестить лежащую в больнице жену, а сыновья были дома, среди бела дня забрали пистолет — именное оружие полковника, два кинжала в серебряных ножнах, двухствольное зауэровское ружье и также тро-

фейную малокалиберную винтовку, которые Линеvский привез из поверженной Германии. В полдень к дому подъехала «эмка». Старший сын Линеvского — Эдик, решив, что приехал отец или кто-то из его друзей, бросился навстречу. Ему и было приказано собрать все имеющееся в доме холодное и огнестрельное оружие, завернуть в богатый персидский ковер, что висел на стене, и отнести в машину. И Эдик это безропотно сделал, потому что у тех двоих, приехавших на «эмке», в руках были пистолеты и они предупредили, в случае чего тут же пустят их в ход. Эдик, два других его брата, сестра и домохозяйка подали голос лишь тогда, когда «эмка», обернувшись крутыми облаками пыли, скрылась на проселочной дороге, где ее любой милиции трудно отыскать.

Что касается Линеvских, то они с того «ощипа» не обеднеют. Муравльскй мужик очухается от страха и снова примется возить мешки по знакомой дороге. Главное, что сам цел и невредим. Хуже всех пришлось сиротке Вале, которую в сенях худого и бедного домишки ее восьмидесятилетней бабки убили в упор из пистолета на прошлой неделе бандиты. Извeстие это потрясло весь поселок. Вале не было шестнадцати. Она училась в девятом. И ее простенькое, бледное и болезненное лицо с удивленно поднятыми белесыми бровками (почему-то она запомнилась мне именно такой в один из дней на школьном крыльце) долго, несмываемо стояло перед глазами. Загадочным было это жестокое убийство. Чем могла безобидная сирота, которая и знала-то всего одну дорогу от дома в школу, насолить матерым бандитам? Почему они выбрали дом одинокой старухи, живущей на отшибе, у которой и взять-то нечего? Лавка вдоль стенки, стол на козлах да печь, заменявшая кровать.

Старуха стояла в той же очереди за хлебом впереди меня. Спекшееся, морщинистое лицо ее обильно сочилося слезами. Старуха все еще не могла прийти в себя от случившегося. Была глубокая темень, когда постучали в хлипкую дверь, да и откуда ей быть иной, если никакого мужика в доме не было. Старухин муж был убит кулаками. Старший сын погиб на войне, а младшего, как говорила старуха, неизвестно где носит сатана. Был он судим за что-то, затем выпущен, снова судим и вновь выпущен. Но к старухе ни разу не заявился. Видимо, держал какую-то обиду на мать. «Бабушка, слышишь?» — тронула старуху за плечо Валентина. «Кого же это нам бог на печь послал? — удивилась та, садясь на печи. — Ну-ка, схожу, спрошу». «Да ты не слезай,

бабушка. Я сама узнаю», — опередила ее Валентина. Легко прыгнула и кинулась к двери...

— И как я, старая, пустила ее, — сокрушалась старуха, — мне самой бы выйти. Я свое пожила. А она... О, дитятко ненаглядное! Что ты в жизни этой видела?..

Загадочным и непонятным было это убийство. Милиция, конечно, никого не нашла. Досужие женщины, как всегда, высказали догадку, что это мог быть и сам сын старухи Подшиваловой со своими дружками. Конечно, это мог быть и он, но зачем им нужно было убивать ни в чем не повинную девчонку, которая наверняка и в лицо-то не знала старухино-го сына? Милиционеры, конечно, установили за домом старухи Подшиваловой слежку, но туда, разумеется, больше никто не пришел.

Но бандиты вскоре оставили свой след там, где его никто не ожидал. В самом центре поселка. На этот раз их жертвой стал фельдшер Яругин — безобидный, тихий, еще не старый мужчина. Его небольшой аккуратный домик, чем-то напоминавший скворечник с высокой крышей и широким окном на проезжую часть, стоял как раз напротив нашего дома, и я из своего окна ежедневно мог видеть Яругина, что-либо делающего возле своего дома или в самом доме. Фельдшер был аккуратным и пунктуальным человеком. В полвосьмого утра он выходил из дома, а самое позднее в семь вечера, сделав по пути необходимые закупки к своему нехитрому холостяцкому ужину, заявлялся домой. Мама смеялась: по Яругину часы проверять можно. И это было так. Если он набрасывал дверную цепочку, можно, не глядя на часы, хватать в охапку дерматиновую школьную сумку, что я всегда и делал. Но в одно из утр Яругин не вышел на порог. Решили, занемог старый холостяк. Но он не вышел и на второй день. Решили, уехал куда-то. Тем более что окно было плотно зашторено белыми занавесками. Отсутствие Яругина бросилось в глаза не только нам, но и тем, кто жил с ним по соседству. Только те сразу же поставили под сомнение отъезд Яругина. Не мог тот уехать и никому не сказать, решили они. Как-никак была у Павла Петровича кое-какая живность — кот, петух, три курицы, — значит, уезжая куда-то, он попросил бы кого-нибудь присмотреть за своим хозяйством. Но этого не сделал. Значит, тут что-то не то. Сходили на работу — там тоже обеспокоены отсутствием Яругина. Соседям ничего не оставалось, как вызвать милицию и взломать дверь. Мы, ребята, движимые любопытством, конечно же оказались тут как тут и, несмотря на гроз-

ные окрики ряболицего, кривоногого Федя-милиционера, облепили дверь, желая увидеть, что же там за ней. Федя-милиционер сноровисто ломиком оторвал замок вместе с петлей. И мы увидели через маленькие сенцы в проем двери узкую, аккуратно застеленную пустую кровать по одну сторону стены, по другую — темно-коричневый округлый комод с четырьмя ящиками, посреди которых ярко поблескивали металлические ручки, а между кроватью и комодом — стол под белой скатеркой и три крепких дубовых табуретки. Федя-милиционер вместе с одним из соседей Яругина — дедом Голопузовым, выступающим, видимо, в качестве понятого, внимательно осмотрел каждый угол, затем сбил в сторону мешавшийся под ногами старый половичок из цветных лоскутков и замер, уставившись в темное пятно на полу.

— Кровь! — воскликнул Федя-милиционер, и закрылки его большого мясистого носа нервно затрепетали.

Собравшаяся у дверей толпа ахнула и подалась назад.

Все следили за движениями Федя-милиционера. Он присел на корточки, быстро откинул половицы и, наконец найдя то, что искал, — щель между досками, подсунул толстые пальцы и приподнял две коротких, плотно сбитых между собой половицы. У Яругина, как и у многих жителей нашего поселка, в доме находился подпол, где зимой хранились картошка, капуста и прочий провиант.

Столпившаяся у двери толпа, еще ничего не видя, лишь учуяв сладковатый, смердящий запах, вновь ахнула и откачулась. И мы, ребята, похолодев от страха, догадались: он там, в подполе... Его действительно нашли там, на картошке, с разможенным черепом, прикрытым окровавленной мешковиной. Топор в темно-бурых сгустках запекшейся крови лежал на груди горемыки.

Эти два случившиеся почти следом друг за другом убийства поубавили что-то в окружающем мире, к которому я прежде питал полное доверие, поселили в душе смутную тревогу и безотчетный страх, который прошел не скоро. Я понял, что на земле живут не только хорошие люди...

II

Приезд моряков-североморцев оказался как нельзя кстати. Появление рослых и сильных людей в черных флотских бушлатах вселило уверенность, что теперь ни один бандит не посмеет сунуться в наш поселок. Мы с восхищением смотрели на моряков, которые горделиво, с сознанием соб-

ственного достоинства расхаживали по нашему поселку, широко, как во время качки, расставляя ноги в восхитительных брюках клеш, расширенных, наподобие колокола, книзу. Но особенно нас волновали матросские бескозырки, ленты с золотыми оттисками, нервно и возбужденно трепетавшие от малейшего ветерка.

Как хотелось вот так же натянуть на свою макушку бескозырку и — мол, знай наших — вразвалочку, небрежно пройти по поселку, выставив вперед от ветра, как бы рассекая его, плечо, закусив слегка зубами кончики беспокойно метущихся лент.

Мы были восхищены моряками Краснознаменного Северного флота. Что же говорить о молодой женской половине нашего поселка! Ведь то, о чем я рассказываю, происходило в самом начале пятидесятых. Шести лет не прошло, как кончилась война. И потому женское население преобладало над мужским. И наверное, многие молодые женщины да и девчата свыклись с невеселой мыслью о том, что жизнь свою просидят вековухами. А тут, откуда ни возмись, сразу такое большое стечение военного люда, столько ладных и стройных военных моряков, когда один кажется краше и лучше другого!

Чуть ли не окончательно разуверившиеся в своем счастье и легкомысленные девчата-вертихвостки, и серьезные женщины, красоту и молодость которых присушила, привяла война, — все они стали жить тайными надеждами на возможно скорые, добрые перемены в своей судьбе...

Сейчас, по прошествии времени, я думаю, что девчата и женщины нашего поселка вряд ли отличались трезвостью ума и расчетливостью. Сколько потом, спустя и не такой уж больно долгий срок, зашустрило на дворах и пыльных улицах нашего поселка белобрых, рыжих и черноголовых матросят — уменьшенных веселых копий своих бравых, молодцеватых отцов, вновь укативших на далекое и загадочное для нас, сухопутных жителей, суровое Северное море.

Шустрые, вездесущие матросята бегали и мешались под ногами, а мы, подростки к той поре лоботрясы, нет-нет да и отвешивали им шалабаны, не испытывая при этом ни малейшего смущения, забыв, что обижаем детей своих недавних кумиров. Ну да детская жестокость — вещь известная. Старались щелкнуть по макушке побольней, так, чтобы взвыл, так, чтобы слезы брызнули. Матросята наши поддавки принимали как должное, слабо противясь силе, молчаливо сглатывая злые шутки, не умея да и не зная, как ответить

на них, не понимая, в чем же их вина, если дома то и дело достается от матери, а на улице треплет за уши и отвешивает подзатыльники каждый, кому не лень.

Моряки-североморцы вряд ли бы похвалили нас за подобное отношение к малышне, окажись они снова в нашем поселке. Но все дело в том, что больше они у нас не появлялись, хотя и в последующие годы картошка на личных и общественных огородах родилась отменная. И по-прежнему ее можно было брать не глядя...

Приезд военных моряков внес праздничное оживление в жизнь поселка. Мы радовались вереницам тяжелых, большегрузных машин, которые лихо проносились по шоссе, ощутимо приминая его большими рубчатыми шинами, радовались тому, что из окон клуба чуть ли не через день раздавались веселые звуки духового оркестра, временами, когда музыканты уставали, подменяемого радиолой; мы радовались тому, что моряки, приходившие вечером в кино или на танцы, нисколько не чинились, обращались с нами как с равными, по-приятельски. И мы считали за высшую честь хоть чем-либо удружить своим старшим друзьям.

Как сейчас вижу здание нашего поселкового клуба — длинного, приземистого барака, собранного из старых просмоленных шпал и щитов, с плоской, пропитанной битумом крышей. Летом, когда крыша разогревалась, на деревянные скамейки дружно, как весенние капли, капала черная смола, но это, насколько я помню, никого не останавливало перед посещением клуба. Он был единственным в поселке, вмещал человек двести, но всякий раз туда набивалось народу раза в два, а то и в три больше. В билетах никому не отказывали, а поскольку количество мест все же было ограничено, каждый располагался, как мог. Что касается нас, пацанвы, то мы рассаживались или на полу в проходах, или забирались на сцену и, улегшись там на бок, так было удобнее всего, смотрели кино с тыльной стороны экрана, громче всех свища и крича, когда пропадал звук или обрывалась лента...

Мы были завсегдатаями клуба. Редкий фильм обходился без нас. Старались мы не пропускать и танцы. Облепив двери и окна, мы глазели на танцующих взрослых, зорко следили за каждым их движением, за каждым жестом, полагая, что здесь-то и сокрыта какая-то загадка, что все тут неспроста. Нас влекло на танцы желание постичь тайну отношений взрослых, но и не только это. Нам нравилась музыка. Сама по себе. Музыка духового оркестра, без которого в поселке не обходилось ни одно сколько-нибудь значительное событие:

торжественные собрания, демонстрации, похороны. Духовой оркестр играл и на проводах моряков, когда они, закончив уборку картофеля, погрузив тяжелые военные машины на платформы, покидали навсегда наш поселок.

Я будто и сейчас слышу долгий утробный голос самой большой трубы — баса, что толстым желтым удавом обвила худую, напрягшуюся до красноты — тоге и гляди задавит — шею длинного, нескладного Ипполита — руководителя духового оркестра... Вот подал низкий голос бас, и тут же, следом за ним, вступили в игру трубы поменьше, затем, выждав своей минуты, с другой стороны оркестра блянкнули и зазвенели, задрожали, блеснув чистым золотом и бросив на стены крохотных зайчиков, медные тарелки. И засияло, засветилось непомерной гордостью свернутое набок лицо Вити Плюгина — хозяина этих тарелок. Поскольку Витя был дураковат, то разговаривали с ним и взрослые, и мы, пацаны, в ироничном, шутливом тоне, задавая ему вопросы вроде того, когда он, Витя, женится и приведет в дом, на подмогу старой матери, молодайку. В хорошем настроении Витя Плюгин в ответ на этот вопрос улыбался, а в плохом — хмурился и сердито сопел, вываливая набок большой и толстый язык, который с трудом помещался во рту, отчего тот был постоянно приоткрыт, и из-за редких крупных зубов натекала на большие, словно подошвы, губы густая, обильная слюна, за что Вите и дано было прозвище Нюня. Так чаще всего и звали его. Разумеется, за глаза. Нюня очень сердился, когда слышал свое прозвище. Мы видели, как он однажды схватил за грудки отпетого поселкового хулигана Сопова, водившего дружбу с урками. Худо бы пришлось Сопову, если бы на помощь не пришел кто-то из дружков. Оказавшись в безопасности, Сопов пригрозил Нюне, намекнув на ножичек, и Витя тут же вновь встрепенулся и, набычив большую голову, снова ринулся на Сопова, и неизвестно, чем бы все это кончилось, не заступи опять кто-то ему дорогу.

О кулаках Вити ходили легенды. Рассказывали, что в один из дней, когда поселок наш был оккупирован немцами, Нюня отправился к колодцу за водой. И когда набирал воду, раскручивая ворот, с другой стороны колодца подошел подвыпивший немец. Он долго изучал Витю, его осоавиахимовский значок — большой цветной эмалированный кружок с пятиконечной звездочкой в центре, прикрепленный серебряной цепочкой к высоко парящему самолету. Значок этот был кем-то подарен Вите, очень нравился ему, и он никогда не

расставался с ним. Какая-то смутная догадка посетила немца, и, чтобы до конца отгадать ее, требовалось освежить голову. Немец ринулся к ведру с водой. Витя же был брезглив и оттолкнул фрица прочь от ведра. Тот выхватил пистолет, а Витя, не долго думая, трахнул его по башке кулаком, а когда немец свалился ему под ноги, то для большей верности припечатал тяжелым ведром и, как говорится, был таков. Немцы, ясное дело, переполошились: среди бела дня в центре поселка кто-то непонятным предметом убил их офицера. На допрос в комендатуру таскали каждого, но те, кто видел сцену у колодца, не выдали Нюню. Ему, правда, присоветовали, чтобы немцы впредь не цеплялись, снять броский осоавиахимовский значок, и Нюня, говорят, скрепя сердце согласился. Так что не совсем уж и дураковатым был Витя Плюгин, отбивавший в нужную минуту такт медными тарелками, начищенными из-за огромной любви к своему инструменту до жаркого золотого блеска. В то время зубной порошок не так-то просто было раздобыть и для его прямого назначения, но это волшебное колыхание тарелок начисто прощало в наших глазах Витю Плюгина, столь бессовестно тратившего дефицитный товар.

Вот он, выплеснулся из медного чрева слежавшийся тяжелый вздох, словно паровоз с трудом стронул основательно груженный состав, блянькнули буфера — медные Витины тарелки. И вот он зачастил, убыстряя свой ход, большой веселый поезд. И та... та. И та... та... И покатился, понесся в неведомую даль наш длинный поселковый клуб, внешним видом своим — размерами окон и формой крыши — очень напоминавший вагон.

Густо облепив окна, мы жадно впитывали то, что творилось там, в узком длинном нутре клуба, вдоль стен которого в три-четыре этажа громоздились дубовые скамейки.

Ах, эти танцы под духовой оркестр! Этот тревожащий, наполняющий душу одновременно грустью и радостью звук меди, пестрое мелькание пар, которые словно бы пребывают в сладостном забытии. Накатываются, проходят над нашими головами зелено-синие сладостно-упоительные «Амурские волны». Качают, качают и уносят неизвестно куда... Как нестерпимо хотелось именно в эту минуту поскорее перескочить шаткую пору детства, стать наконец взрослым человеком, стать вровень с теми, кто раскованно и горделиво вальсирует на кругу, слегка поддерживая за талию свою партнершу, всем своим видом выказывая абсолютную свободу и независимость.

В тот вечер в нашем поселковом клубе, как всегда, были танцы. Состояться им не помешал даже дождь, который нудно и тоскливо полоскал с самого утра. Дождь, наоборот, только раззадоривал, вызывал желание доказать, что доброму делу погода не помеха. Парни и девчата прибегали к клубу до ниточки мокрые (плащи тогда редко у кого водились, а зонты и подавно) и, отряхиваясь, отфыркиваясь, отирая мокрые лица, радостные и возбужденные входили в клуб. Мы, разумеется, как всегда, были на своих местах и, подняв мокрые воротники, отяжелевших от воды пиджаков, ожидали долгожданного действия. А вот и знакомый голос Ипполитова баса, и мы тотчас прилипаем к окнам, невольно согревая затылки друг друга горячим дыханием. Как правило, первую вещь наши музыканты играли без особого азарта, вроде как бы для пробы, для того чтобы сыграть, и, зная об этом, никто из танцоров не спешил выходить на середину зала. Пришедшие на танцы стояли вдоль стен, осматриваясь по сторонам, оценивая обстановку, подыскивая себе пару, хотя, конечно, большинство давно успело определиться, но такие и держались-то рядом и, надо сказать, не больно глазели по сторонам.

Хотя как было не посмотреть, не полюбоваться на матросов, которые черными стремительными выюнами из конца в конец пересекали в танце небольшую территорию клуба. Поселковые парни, чего за ними прежде не водилось, заметно пасовали в присутствии матросов. Как-то странно, сиротливо жались у стен, завистливо поглядывая на приезжих североморцев. Каждому было ясно — о соперничестве речи и быть не может. Да и кому было соперничать с моряками-североморцами, с их блистательной формой — брюками клеш, пригнанными строго по талии черными бушлатами с двумя рядами ослепительно сияющих пуговиц с выпуклыми якорьками, — с той формой, которая уже сама по себе сводила девчат с ума, лишала их покоя.

Справедливости ради надо сказать, что соперники, возможно бы, и нашлись, но первые парни нашего поселка в это время находились на армейской и флотской службе и, быть может, тоже в тех дальних незнакомых местах дурили девчатам головы и вызывали столь же жгучую зависть и ревность у местного мужского населения. Кому было соперничать с моряками, если из тех, кто топтался на танцах в клубе, часть парней была негёжих, тех, кто был возвращен с призывного